



ЭЛЕОНОРА ПАХОМОВА

БЕЛОЕ БРАТСТВО

Элеонора Пахомова

Белое братство

«ЛитРес: Самиздат»

2017

Пахомова Э. С.

Белое братство / Э. С. Пахомова — «ЛитРес: Самиздат», 2017

«Белое братство» – вторая книга о приключениях Замятина и Погодина. Одна из её сюжетных линий уводит читателя в Тибет, вслед за разорившимся олигархом, который вознамерился найти Шамбалу. Пока общественность гадает, сошел он с ума или же знает нечто такое, что неведомо простым смертным, в Москве происходят события совсем уж странные: лжеэкстрасенс Вадим Успенский вдруг начинает пророчить страшную правду. Есть ли здесь связь и что таится за темной изнанкой совпадений, расскажет «Белое братство».

© Пахомова Э. С., 2017

© ЛитРес: Самиздат, 2017

Содержание

Пролог	6
Глава 1	7
Глава 2	13
Глава 3	20
Конец ознакомительного фрагмента.	25

Все события и персонажи вымышлены. Любые совпадения случайны.

Пролог

Тонкая извилистая молния лизнула крутобокие тучи над католическим собором в центре Москвы – словно язык хищной рептилии протянулся к человеку, стоящему на козырьке здания над входом. Человек этот в белом балахоне воздевал руки к вечеряющему небу, пытаясь перекричать раскаты грома. За его спиной высилась громада готического собора. Казалось, острые башенные пики, устремленные ввысь, вонзаются в рыхлые тучи, выпуская из них влагу.

– Пришло великое время! Время Белого братства! – кричал человек в толпу. – Люди, готовьтесь к покаянию и очищению. Сбывается пророчество Ванги о третьей мировой войне и апокалипсисе. «Все религии падут, останется лишь учение Белого братства. Как белый цветок покроет оно Землю, и благодаря этому люди спасутся. Новое учение придет из России. Она первая очистится. Белое братство распространится по России и начнет свое шествие по миру». Люди, это великое время наступает! Человечество погружается во мрак! Во мрак катастроф, войн, торжества террора. Падают самолеты, гремят взрывы и выстрелы, мир накрыла волна терактов и злодеяний! Мрак сгущается, но за ночью грянет рассвет. После падения Сирии мрак рассеет священное зарево – огонь учения Белого братства... Люди...

Очередной раскат грома заглушил эту речь. По небу снова пробежала молния. Человек в белом балахоне неловко взмахнул руками, покачнулся и рухнул вниз под испуганный вздох толпы.

Глава 1

Небо над подмосковным элитным поселком в этот день было таким же хмурым, как лицо Владимира Сергеевича, который сидел у мангала в собственном саду и без каких-либо признаков аппетита поглядывал на сочные куски стейка из австралийской говядины, скворчащие на решетке. Он и поглядывал-то на них исключительно потому, что его обрekli на стряпню незваные гости. Самому ему, понятное дело, не до говядины сейчас было. Пусть даже австралийской, мраморной.

Еще бы! Пять дней назад в Средиземное море рухнул самолет. Огромный двухпалубный Airbus-380 вместимостью восемьсот пятьдесят человек, заполненный под завязку российскими туристами, направлявшимися из Египта в Москву. Трагедия сама по себе страшная, что и говорить. Но паршивей всего Владимиру Сергеевичу было от того, что самолет этот его собственный. Точней, второй крупнейшей в России авиакомпании, принадлежащей ему на 100%, которая со дня на день готовилась объявить о банкротстве. Грядущее (а фактически наступившее) банкротство огромной и некогда процветавшей компании уже являлось нешуточным стрессом для владельца бизнеса, и он надеялся как можно деликатней раскрыть общественности нелицеприятную правду. А по возможности и вовсе скрыть, продав компанию. Но долги были такие, что кто ж купит? Даром не возьмут! И вот он – чудовищный и символический конец его империи. Крах! Владимир Сергеевич угадывал в этой трагедии, пятый день гремевшей на весь мир ужасающим, тревожным набатом, почти мистический символизм. Накануне объявления о банкротстве «Бонавиа» рухнул флагман его воздушного флота – новенький красавец Airbus, каких у российских компаний еще не бывало. Самолет этот олицетворял собой мощь и размах воздушного гиганта – «Бонавиа». Он и куплен-то был не из соображений экономической целесообразности, а исключительно для того, чтобы стать символом компании, горделиво носить корпоративные цвета и знаки.

В том, что обанкротился чуть ли не крупнейший в стране авиаперевозчик, виноват был лично Владимир Сергеевич, собственной персоной. И теперь, задним умом, он осознавал это отчетливо. Пока же настойчиво и неотвратно вел компанию к разорению, словно не понимал. Ведь говорили ему наиумнейшие топ-менеджеры, обвешанные степенями престижных зарубежных университетов, как селекционные болонки медалями: «Прогорим! Владимир Сергеевич, прогорим – себе в убыток летаем! Зачем так демпинговать? У нас и так билеты в три раза ниже рынка, давайте хоть до себестоимости цену поднимем. Зачем нам на рейсах одноразовые пледы из овечьей шерсти? Зачем вы в 2013 году распорядились купить этот Airbus, ведь несоизмеримые траты! И это в нашей-то ситуации!» На все эти вопросы, доводившие управленцев до истерики, Владимир Сергеевич мягко, но властно, отвечал: «Затем, что я так сказал». И баста!

Каким бы сумасбродом и чудаком ни выглядел он в последние годы, а металл, когда надо, по-прежнему проступал в его голосе на тех гипнотических нотах, от которых цепенели управленцы любого звена, даже самые уполномоченные. Наивностью было бы полагать, что за нынешней плюшевой оболочкой Владимира Сергеевича больше не таится волчьего нутра, благодаря которому он в свое время поднял на ноги такую махину, как «Бонавиа». Травоядные миллиардами не ворочают. Просто со временем эта ипостась за ненадобностью утратила в нем доминантную роль, отступила на второй план, убаюканная сытой жизнью, и со скуки задремала где-то в темном углублении. Изредка, впрочем, поднимая уши, когда сквозь дремоту угадывался в атмосфере раздражающий звук. Кто-то из его подчиненных верил, что хищная часть Владимира Сергеевича дремлет чутко, а потому его алогичные решения в управлении компанией несут в себе хитрый скрытый замысел. Другая же часть в это не верила, поэтому иногда

за спиной хозяина империи можно было услышать тихое и пренебрежительное: «Сытый волк – уже собака».

И действительно с годами Владимир Сергеевич начал добреть. Добреть в прямом и переносном смыслах – слегка раздался вширь, поджарое некогда тело местами обросло жирком и округлилось, серебристая щетина на лице уложилась в аккуратную лоснящуюся бородку, придавая ему сходство уже не с хищником, а с пушным зверьком, серо-голубые глаза смотрели все чаще весело и нет-нет да и подмигивали задорно нервным подчиненным. Многие из его окружения отмечали, что Владимир Сергеевич необратимо впадает в детство. Особенно явно это предположение возникало у тех, кому доводилось наблюдать, как во время серьезных совещаний он вдруг выдавал: «Предлагаю в честь юбилея основания компании всех пассажиров угостить шампанским! Допустим, „Дон Периньон“! А? Каково?» – отдавал он распоряжение, маскируя его под вопрос. При этом он с широкой улыбкой оглядывал присутствующих и шумно потирал ладони. А через секунду добавлял, бурча себе под нос: «Что ты на это скажешь, старый хороняка?..» – это уже не подчиненным, фраза адресовалась его главному конкуренту, владельцу крупнейшей в стране авиакомпании, который, впрочем, слышать зловещего шепота Владимира Сергеевича никак не мог.

После очередной подобной выходки не выдержал самый ценный управленец воздушной империи, исполнительный директор, которого лет семь назад за бешеные деньги переманили у конкурентов. Он медленно встал из-за стола посреди собрания, пунцовый лицом, судорожными движениями несколько раз дернул узел дорожного галстука, будто намерен был в ключья разорвать эту чудо что за красивую тряпицу (из расшитого шелка оттенка кофе с молоком), прохрипел тихо, зло: «Ну, знаете, я умываю руки» – и медленно, тяжело переставляя ноги, пошел к выходу. Следом за ним бросился личный помощник – не случилось бы чего! И, действительно, случилось – инсульт. Но, к счастью, откачали. Правда, с тех пор и поныне бывший руководитель высшего звена являлся нетрудоспособным.

Тогда Владимир Сергеевич лишь покосился на тяжелую поступь исполнительного директора и хмыкнул в удаляющуюся спину: «Малахольный...». А теперь, конечно, жалел. Жалел пусть не обо всем содеянном, но о многом. Как его угораздило так заиграться и, в конечном счете, доиграться? Почему так долго его острый некогда ум отказывался понимать очевидные вещи, например, что у всякой пропасти есть дно? Ведь летела же компания вниз, летела стремительно. А ему казалось, что она не упадет никогда. Это все дурман больших денег, наваждение. Когда их очень долго очень много, возникает иллюзия, что закончится они просто не могут, – дьявольское искушение, манящий к обрыву мираж... Да, да, все так. Блажить он начал от скуки, когда достиг всего. Он и того самого главного конкурента, опережавшего его не так уж сильно, при желании мог обойти. Но будто специально этого не делал, играл в поддавки, время от времени наступая тому на пятки и потешаясь, представляя, как он злится и непременно пьет на нервной почве. Потому и звал его за глаза «хороняка».

Теперь же браться за рюмку впору было ему самому. Но он не запил. Реальность пока не открылась ему во всей своей ужасающей необратимости, она лишь начала проделывать бреши в той иллюзорной пелене, которой в последние годы было плотно окутано сознание Владимира Сергеевича. И только с недавнего времени он стал замечать, как сквозь радужное полотнище его мировосприятия нет-нет и вытаращится черный страшный глаз реальности, повертит воспаленным белком, озирая пространство сквозь узкую щель, да и замрет, уставившись прямо на него. В такие моменты пробегала по его телу секундная судорога, холодное дуновение вдоль позвоночника. Жутко. Но он не пасовал. Мысленно смотрел на страшный глаз так же в упор и рычал: «Чего уставилась, дура?»

После падения самолета дура-реальность показала ему не только прищур, но и оскал. Владимир Сергеевич пока не определился, как быть с этим наглым вторжением. Он вдруг ощутил непомерную усталость и решил, что нужно перевести дух, абстрагироваться от всего хоть

на несколько дней, набраться сил. Он пятый день уже не появлялся на людях, засел в своей библиотеке, обложился раритетными книгами о тайнах восточной культуры, к которым питал особую страсть, и почти сумел приблизиться к состоянию блаженной нирваны. Но нет, реальность снова дала о себе знать неуместным вторжением соседей.

Отец и сын Погодины, чей дом располагался в том же элитном поселке, решили наведаться и проверить, не слег ли Владимир Сергеевич под тяжким гнетом обстоятельств. В газетах за эти пять дней чего только не написали. Сначала щедро осыпали проклятиями «Бонавиа» и лично Владимира Сергеевича, затем принялись «копать», как обстоят дела у компании, – факт за фактом на поверхность стала всплывать печальная правда. Потом журналисты жажнули фейерверком конспирологических гипотез о причинах крушения самолета и компании. А со вчерашнего дня начали полировать информационное пространство пророчествами о печальной будущности отечественного рынка авиаперевозок и судьбе Владимира Сергеевича персонально. Первому предрекали неизбежное повышение цен на авиабилеты (в связи с уходом с рынка одного из крупнейших игроков, который держал самые демократичные цены), второму – скоростижную гибель от собственной руки.

Возможное самоубийство Владимира Сергеевича виделось некоторым особо «желтым» изданиям закономерным финалом истории грандиозного взлета и падения одного из самых заметных в стране толстосумов. Для убедительности своих трагических прогнозов таблоиды даже приводили цифры статистики самоубийств разорившихся миллионеров по всему миру. Замечательно благодатной почвой для подобных инсинуаций стало затворничество Владимира Сергеевича. Со дня загадочного падения «эербаса» во внешнем мире не было зафиксировано ни одного признака жизни владельца компании: мобильный выключен, ворота участка наглухо закрыты, что за воротами – Бог весть... Однако представители узкого круга близких знакомых, к коим относились Погодины, все же знали, что до суицида дело не дошло, хотя и опасались, как бы Владимир Сергеевич не повредился умом окончательно. То, что он жив, следовало из звонков на секретный мобильный номер, который знали единицы. По этому номеру Владимир Сергеевич, хоть и не с первого гудка, но отвечал. Бросал раздраженное: «Я занят» – и отключался.

Но старшего Погодина такая лаконичность устраивала не вполне, и он решился на штурм соседской крепости. Специально по такому поводу вызвал из московской квартиры сына Мирослава, с которым Владимир Сергеевич любил поболтать о своем, религиозно-эзотерическом, прихватил с собой коньяк, закуски и свежайшую мраморную говядину. Стейки для редких гостей Владимир Сергеевич любил готовить собственноручно, по особому рецепту. Для этой цели во дворе его дома красовался блестящий хромированным боком мангал. Правда, готовил Владимир Сергеевич, как правило, в исключительно благоприятном расположении духа, на которое теперь рассчитывать не приходилось. Но Погодин старший был полон решимости его расшевелить.

После того, как Дмитрий Погодин нажал на кнопку звонка у ворот, прошло около минуты, за которую ровным счетом ничего не случилось. Тогда Дмитрий Николаевич нажал кнопку еще раз, требовательней и дольше. Поднял голову, внимательно посмотрел на правую камеру, затем на левую. Так и есть, диафрагма в левом объективе шевельнулась, сжалась, как зрачок настороженного зверя.

– Ну и чего ты меня разглядываешь? Давно не видел? Открывай давай, не томи гостей на пороге, – проговорил он, глядя в упор на электронное око.

Дмитрий Николаевич был уверен, что через монитор на него смотрит сам хозяин. Охрану и прочий персонал он наверняка отпустил. Владимир Сергеевич в плохом настроении терпеть не мог посторонних в доме.

Диафрагма снова шевельнулась – «зрачок» стал шире. Погодин старший еще раз нетерпеливо нажал на звонок.

– Не откроешь, вызову своих ребят, будем брать твой скит силой.

После этих слов Дмитрий Николаевич широко улыбнулся и хитро подмигнул камере.

Через пару секунд тишины наконец раздался слабый щелчок, но исходил он не от ворот, – на прямоугольном столбе с правой стороны забора откинулась металлическая крышка, размером с обувную коробку. К удивлению гостей, из ниши медленно с жужжащим электронным звуком стала выдвигаться некая конструкция на тонком серебристом каркасе. Конструкция вытянулась, пожужжала еще немного и сложилась в подобие человеческой руки, демонстрирующей Дмитрию Николаевичу неприличный жест с воздетым к небу средним пальцем. Погодин-старший усмехнулся и покачал головой, констатируя вполголоса: «Горбатого могила исправит». Младший же, стоявший за левым плечом отца, громко рассмеялся, потом поднял на камеру свои синие глаза и сказал: «Давай-давай, дядь Володь, открывай. Теперь не отвертись».

Помедлив, тяжелые ворота все же дрогнули и разъехались. Под ногами Погодиных привычно зашуршала садовая дорожка. Владимир Сергеевич с недовольной гримасой поджидал гостей на крыльце, живой-здоровый, но осунувшийся и взъерошенный. Вообще, вид у него был, конечно, тот еще: вместо брюк – белые азиатские шаровары, похожие на длинную юбку, с прошитым по нижнему краю подолом и двумя дырочками для ног, над брюками – белая рубаша из льняного полотнища, цельнокроеная, без застежек. На голове – белая повязка, а на ней, четко по центру лба, маячил знак, от которого Погодин-старший брезгливо поморщился и закачал головой.

Знаком этим была свастика. Та самая, распускающая четыре луча, загнутых под прямым углом в левую сторону. Если бы Владимира Сергеевича в таком одеянии увидел тот, кто знаком с ним лишь шапочно, он бы обязательно уверился, что горе-олигарх тронулся умом окончательно и бесповоротно. Но Погодины про любовь Владимира Сергеевича к свастике знали давно. Старший не мог заставить себя воспринимать этот символ беспристрастно, его всякий раз передергивало, когда на глаза попадалась эмблема фашизма. Младший же относился к нему куда спокойней.

Мирослав Погодин отлично знал, что свастика – древний религиозный символ, возникший за много тысячелетий до рождения Гитлера. Правосторонняя свастика принадлежит к иконографии буддизма, а левосторонняя, такая, как сейчас чернела на лбу Владимира Сергеевича, относится к древней тибетской религии бон, возникшей еще раньше. Поэтому тот факт, что Владимир Сергеевич тяготел к этому символу, вовсе не свидетельствовал, что он разделяет идеологию фашизма, нацизма или кого-либо из их последователей. Больше того, Гитлера Владимир Сергеевич к слову называл «имбецилом», ссылаясь при этом на письменные свидетельства его современников.

– Чему обязан визитом столь дорогих гостей? – язвительно спросил хозяин, подбоченясь и выставив вперед босую правую ногу. В моменты крайнего раздражения он всегда становился невыносимо саркастичен.

– На тебя пришли полюбоваться. Где еще увидишь такое чудо, прости Господи...

Погодин старший загодя твердо решил с Владимиром Сергеевичем не сюсюкаться и соболезнований не высказывать, от этого только хуже, повиснет в воздухе трагический минор – и всё, останется лишь вздыхать и сокрушаться. После такого визита хозяину будет еще паршивей. А вот позлить немного Владимира Сергеевича, пожалуй, самое то. Он, когда злится, – наливается энергией и силой. Бодрит его злость, пробуждает. Так и случилось. Владимир Сергеевич зыркнул на Погодина-старшего не по-доброму, весь подобрался, плечи расправил и двинул упругой походкой в глубь сада, к резной деревянной беседке. Гости последовали за ним.

Несмотря на вечернее время, на дворе было душно. В небе клубились тяжелые сизые тучи, все предвещало очередную июльскую грозу. Даже замечательный тенистый сад Владимира Сергеевича, разбитый на большом участке земли, с искусственным прудом и тихо журчащими фонтанчиками, не дарил прохлады. Владимир Сергеевич уселся в беседке, деловито

сложил руки на столе и вперился в Погодина старшего строгим взглядом. Вид у него при этом был уморительный – глаза злые, поза напряженная, на лбу свастика. Просто канонический деспот, только усишек не хватает.

– Слушаю внимательно. Зачем нарисовались? – в голосе прозвучал металл. Владимир Сергеевич с ходу вошел в образ большого босса, восседающего во главе стола и готового раскатать присутствующих на аудиенции под ноль.

– Ой, да сними ты эту хрень! Смотреть тошно! – Дмитрий Николаевич резким движением сорвал повязку с головы оппонента, плюхнулся на противоположную скамейку, промокнул отвоеванной тряпицей испарину на собственном лбу и отшвырнул ее в сторону.

Негостеприимный хозяин сверкнул-было глазами, в секундном порыве подался корпусом вперед, да так и обмяк, откинувшись на спинку лавочки. Сморщился, отвернулся в сторону, делая вид, что с интересом разглядывает толстую медную жабу на бортике фонтана, и затих.

Мирослав Погодин всю эту сцену наблюдал, стоя у входа в беседку. Облокотился плечом на арочную балку, сложил руки на груди, улыбался и даже посмеивался. Ему всегда доставляло удовольствие наблюдать, как пикируются его отец и Владимир Сергеевич, а стаж в этом деле у них был большой, лет тридцать.

Погодин-старший помнил Владимира Стрельникова еще другим. Молодым, поджарым, с расстегнутой на груди рубашкой и в джинсах с высокой посадкой, модных в 90-х годах. Он часто был весел, задирист, жаден до жизни. Жила в нем особая молодецкая остервенелость, питаемая обильными соками страсти к риску и невероятной везучести. Молодой Стрельников без долгих раздумий пускался в авантюры, драки, бандитские разборки, финансовые махинации. И всегда его проносило, всегда везло. Обстоятельства словно выплясывали вокруг него дикий шаманский танец, ворожа на чудо. И чудеса случались часто и легко. Например, однажды, все в тех же 90-х, когда Стрельников делал свои первые, часто опрометчивые, шаги на ниве предпринимательства, его угораздило нарваться на очень серьезных ребят. Нарваться дерзко, борзо, так, будто за его спиной стояла не меньшая сила, хотя на тот момент он был один. Чудом являлось уже то, что его не убили на месте, а назначили «стрелку» на подмосковном пустыре. У него было время пуститься в бега, затаиться, но делать этого он не стал. Накануне назначенной встречи, сидя с друзьями (в числе которых был Дмитрий Погодин) в кабаке, он густо затягивался табачным дымом и с отрешенной задумчивостью вглядывался в предметы и лица. «Ничего не надо. Я поеду один», – отрезал Стрельников тогда, поднимаясь со стула, и спокойной походкой, не выдававшей в нем каких-либо особенных чувств, направился к своей черной «девятке». Он гнал на пустырь уверенно и быстро, поднимая колесами охристую грунтовую пыль, и прибыл точно по времени. На пустыре больше часа его «девятка» дразнила дальним светом темноту, а сам Стрельников, присев на капот, маячил сигаретным кропалем. Но на встречу так никто и не явился. Только на следующее утро из новостей он узнал, что те, кого он ждал, тем же вечером взлетели на воздух вместе кровлей одного злчного места, всего в 20-ти километрах от того самого пустыря. «Предположительно из-за конфликта интересов криминальных авторитетов», – сказали в новостях. Позже, обмывая с друзьями свое чудесное избавление, Стрельников в очередной раз услышал: «Сам черт тебя бережет». Он рассмеялся, как человек не столько позабавленный, сколько довольный, глаза его блестели, словно он знает какую-то только ему ведомую тайну и хочет, чтобы о ней догадались другие, но сам не может ее рассказать. Он потер тогда обветренной ладонью крепкую грудь с русой порослью, обнаженную воротом рубашки, и произнес тост: «За это и выпьем».

– Давай Володя, соображай, что делать будешь и чем тебе помочь. Что-то я начинаю утомляться от этих плясок с бубнами вокруг да около.

Дмитрий Погодин по-свойски раскладывал на деревянной столешнице снедь. Сверток с говядиной он всучил хозяину лично в руки.

– Помочь? Ну, помоги, Дима. Нужно всего ничего – триста миллиардов рублей. – Стрельников рассмеялся гортанно, звучно, закинув голову назад. Потом выжидательно уставился на Дмитрия Николаевича веселыми глазами, наслаждаясь произведенным эффектом. – Ну, какие будут предложения?

– Красавец ты, Стрельников. Это надо было хорошо постараться, чтобы так встрять. У самого-то есть мысли? Что планируешь делать?

– Что я планирую делать?

Судя по взгляду Владимира Сергеевича, от вопроса ему стало еще веселее. Выждав несколько секунд, он выдал: «Я собираюсь послать все к чертям и отправиться с экспедицией в Гималаи искать Шамбалу» – и отчего-то подмигнул Мирославу.

Глава 2

– Ты когда с козырька прыгнул, у меня сердце так и замерло. Какой ты все-таки у меня смелый! – тарыхтела дородная барышня тридцати трех лет, выкладывая на стол два батона колбасы, головку сыра, ароматный кусок копченой осетрины, любовно укутанный в хрусткую бумагу, три банки сгущенки, пять больших шоколадок «Тоблерон». – А вот в этом пакете костюм спортивный, тапочки, мыло...

– Да не прыгал я. Я в балахоне твоём дурачком запутался, случайно на подол наступил. Подведешь меня когда-нибудь под монастырь... Первые пятнадцать суток уже обеспечила.

Вчерашний «мессия» просидел в дурно пахнущем «обезьяннике» целую ночь, а предстояло еще четырнадцать. Жестокосердные блюстители закона «впаяли» ему пятнадцать суток за административное правонарушение, проще говоря – мелкое хулиганство. И это он еще легко отделался! А если бы его выходку квалифицировали как оскорбление чувств верующих, что тогда – «здравствуй, Магадан»? Шутка ли вскарабкаться на здание собора в самом центре Москвы, обряженным в бесформенную хламиду, и орать несуразицу в толпу.

Это все она, Света, со своим «паблисити». Вцепилась в него мертвой хваткой и вьет теперь веревки из мягкотелого Вадима Сигизмундовича. Чего только не придумает! Ему бы и в голову такое не пришло... Надо бы все же поосторожней с ее безумными идеями, не задним умом соображать (что ему свойственно), а заблаговременно оценивать риски. И характера, характера побольше. А то, не ровён час, и впрямь наживет беду на пустом месте. Ей-то что, одно слово – «пиарщица», все мысли под одно заточены: как бы привлечь внимание СМИ да шороху навести побольше. А ему отдуваться. Разве думает она о последствиях? Нет конечно. Зачем ей? Для нее главное обеспечить выход какой-нибудь статейки и разглядывать ее потом, горделиво раздувая ноздри. Прибегает к нему постоянно в нездоровой ажитации и давай обрабатывать: «Вадя, я все устроила! Это победа, везение, ну и, конечно, мои личные связи (последнее произносится, как правило, медленней, тише, вкрадчивей – как будто необходимое для полноты картины дополнение, за которое ей самой неловко). О тебе напишет самая тиражная в нашей стране газета „Супер стар“. Три миллиона тираж, понимаешь? Три миллиона! Но для этого надо кое-что сделать...» Чего он только не отчебучил уже под эту сладкоголосую музыку и в собственных глазах порой выглядел полным дураком. Но его личный специалист по связям с общественностью настаивала, что движутся они самым правильным путем.

Вадима Сигизмундовича как-то ненароком, можно сказать случайно, угораздило стать публичной персоной. От обиды и негодования вдруг, в момент, вспыхнула в его голове дерзкая мысль – заявиться на кастинг крайне популярной телепередачи, в которой люди с паранормальными способностями меряются силой, чтобы популярно им всем объяснить, кто они есть на самом деле. Он сидел тогда в своей «однушке» на задворках Москвы и двигал челюстями словно неживой, механический, пережевывая опостылевший «Доширак», глядя на экран телевизора пустым, немигающим взглядом. Он уже давно чувствовал усталость от своей бессмысленной, неудавшейся жизни. Чувство было непроходящим, поскольку перемен к лучшему не предвиделось. Потому усталость эта год от года будто тяжелела, обрастая новыми неутолимыми печалью, ощущалась чугунным грузом в районе шейных позвонков, делая Вадима Сигизмундовича сутулым.

А ведь когда-то он был прям, как стела, и с особой легкостью, присущей потомственным интеллигентам, носил фетровую шляпу. Это было в советское время, когда молодой Вадим Успенский служил инженером в подмосковном НИИ и жизнь его хоть и не обещала быть щедрой на особые благи, но виделась понятной, размеренной, подконтрольной. Его это вполне устраивало, ведь он обладал счастливейшим характером человека, которому для гармонии

с миром хватало малого – стабильности. Он не был ни авантюристом, ни мечтателем. Не относился к породе мужчин, всю свою жизнь ощущающих требовательный зов эго – реализовываться через стремление к власти и деньгам.

Вадим Сигизмундович, поздний и единственный ребенок в преподавательской семье, в детстве был обласкан и храним от тревог. Мать любила его безмерно – часто прижимала виском к выступающей ключице, хрупкой на вид, но крепкой как материнская любовь, называла Вадюшей и гладила по жидким, мягким волосам. Он и сейчас, стоило ему закрыть глаза и вспомнить о матери, явственно ощущал касание ее увядающей, тонкой подвижной кожи, прикосновение длинной, дрожащей, словно вечно взволнованной серьги к затылку. И ее запах. Особый запах, которого Вадим Сигизмундович никогда и не от кого больше не улавливал. Вместе с матерью навсегда исчез из его жизни не только этот особый запах, но и чувство опоры. Ее ключица под его виском дарила ему ощущение тверди, основы, поддерживающей его существование. Так он и рос спокойным и безмятежным – всегда сдержан, нетороплив, вежлив. Но будто в насмешку над его легковесной натурой природа подарила Вадиму Успенскому взгляд мученика. Его большие темно-карие глаза на вытянутом, худощавом лице с тонкими скулами даже в детстве смотрели на мир с выражением глубокомысленной печали, которой молодой Успенский, впрочем, совершенно не испытывал. А длинные густые ресницы, роняя глубокие тени на радужку и подглазья, придавали этой мнимой печали загадочности.

Потом случилась перестройка, и мука во взгляде тридцатидвухлетнего Успенского перестала быть случайной. Понятный ему мир треснул, надломился, и из его открытых ран высвободился первобытный хаос, в котором право на жизнь имел лишь сильный, а слабый – надежду на выживание. Жизнь стала непонятной и лютой. В перестроечной России НИИ не продержался и трех лет, фетровая шляпа обветшала и поникла полями, будто на фоне бритых затылков и крепких бандитских шей устыдилась своей декоративной хрупкости. В новой реальности Успенский не мог найти себе места. Бушующая стихия, предвещавшая становление нового мира, носила его в пространстве, как мелкий сор, то и дело припечатывая к какой-нибудь угловатой поверхности.

Жена его Любочка, в юности казавшаяся воздушной нежной девочкой, постепенно звелела, раздражаясь никчемности своего избранника. На крупах и картошке (за неимением лучшего) она набирала вес, а взгляд ее серых глаз, некогда казавшийся Вадиму Сигизмундовичу мягким, как подшерсток дымчатой кошки, твердел, отливая металлическими бликами. Казалось, в гостях у более удачливых друзей, за просмотром импортных видеокассет, демонстрировавших сытую жизнь «загнивающего запада», Любочка закаляла обнаруженную в своих внутренних недрах сталь, обтачивая взгляд как заточку, чтобы, придя домой, всадить ее в супруга, скрюченного над кухонным столом, как знак вопроса над фразой «Как жить».

В начале двухтысячных брак их окончательно распался. Любочка к тому времени бесповоротно превратилась в Любаню, торгующую на одном из московских рынков привозимым из Турции барахлом, мимикрировала под свою повседневность, обабилась, очерствела, пристрастилась к шансону и спиртным напиткам. Для Вадима Сигизмундовича, который, несмотря ни на что, по-прежнему ощущал внутри свою врожденную и выпестованную родителями интеллигентность, словно тонкую трепещущую струну, Любаня стала существом чужеродным и непостижимым. Она то и дело метала в него крепкие словечки, как дворовая шпана камни в приبلудившуюся собаку, а он смотрел на нее исподлобья своим трагическим взглядом и по-детски сунулся.

Поэтому Вадим Сигизмундович испытал облегчение, когда порог их квартиры переступил чернобрый, коренастый Сурен, заявивший, что Любаня отныне будет жить с ним. Не омрачило радости Успенского даже то обстоятельство, что жить они собирались в трехкомнатной квартире, доставшейся ему после смерти родителей. Он вряд ли бы нашел в себе

силы бороться за имущество, но неожиданно Любана смиростивилась и пожертвовала ему свое наследство – «однушку» в десяти километрах от МКАД.

Так он и зажил – одиноко и тихо, воспринимая современную столицу и мир вне ее пределов как некую враждебную среду. Вадим Успенский был одинок, но тяготился он по жизни не столько одиночеством, сколько своей неуместностью везде и всюду. В метро, маршрутке, магазине, на выстраданной после долгих мытарств работе – где бы ни был – он ощущал себя инородным телом, случайно попавшим в некий слаженный механизм. Ему казалось, что окружающие его люди, словно шестеренки в часах, вращаются с неизменной выверенной скоростью, четко сцепливаясь зубцами, а он то и дело попадает в пазы, провоцируя помехи и скрежет. Стоило ему выйти из квартиры, как он слышал в свой адрес недовольные, а чаще агрессивные реплики: «Шевели поршнями, людям пройти негде», а бывало и «Ну, чего раскорячился, дрищ?!» Москва с годами все больше походила на Любаню.

Незлобивый и даже аморфный по внутренней природе Успенский смиренно сносил превратности своего незадачливого бытия. Сконфуженно он лепетал извинения и устремлялся в беспокойное людское море, бушующее в вестибюлях метрополитена или на оживленных тротуарах. Со спины сгорбленный силуэт его долговязого тела выдавал в нем желание стать неприметней, компактней, меньше, чтобы то ли затеряться в толпе, то ли быть поглощенным этой стихией и уже не выбраться на божий свет.

Успенский не умел страдать явно, очевидно, ни для окружающих, ни для самого себя. Со стороны, конечно, легко было заметить, что вот перед тобой человек, побитый жизнью – весь скукоженный, неловкий, будто тяготящийся самим собой, а взгляд-то какой! Но мало ли таких, побитых, – каждый второй пассажир в вагоне метро. Однако вел себя Успенский всегда одинаково ровно – ни срывов, ни вспышек гнева, ни приступов меланхолического безволия, от которого порой сказываешься больным и прячешься от мира в четырех стенах. Он даже не пил! То есть по поведенческим признакам казался человеком вполне принимающим окружающую действительность, пусть и безрадостную, тягостную. Казался даже самому себе и не смел себя в этом разубеждать, стараясь не пускаться в напрасные размышления о лучшей доле. Но все же мука и досада бродили у него внутри сами по себе, как скисшие плоды, превращаясь в ядреную дурную бормотуху. От ее хмельных паров мысли Успенского иногда туманились и в голове невесть откуда, вдруг, с пугающей резкостью обозначивался вреднейший из вопросов: «А зачем все это?» Вадим Сигизмундович не любил такие минуты, поскольку ему казалось, что вопрос этот будто холодный и липкий, – зябко от него становилось всему организму, словно откуда-то пахнуло могильной сыростью.

В общем, Успенский предпочитал быть страдальцем латентным, а не явным. Но тем и чревата латентность, что в какой-то момент долго подавляемые чувства вдруг выплеснутся наружу и подтолкнут человека к чему-нибудь доселе им невообразимому. Так и случилось с тишайшим Вадимом Сигизмундовичем. Сидел он субботним вечером в своей одинокой квартирке, крутил в руках электрический чайник, который отчего-то перестал работать, пытаясь применить к поломке полет своей инженерной мысли, и вполглаза смотрел передачу про всеведущих экстрасенсов.

На экране тем временем разворачивалась натуральная драма, каких, впрочем, необъятная Россия видывала во множестве. Робкая на вид женщина средних лет, давно утратившая очарование молодости, с расплывшимся, по-провинциальному накрашенным лицом, рассказывала о своей несчастливой доле, теребя в руках носовой платочек. Беда ее заключалась в том, что замуж она выходила трижды. И все трое мужей умерли. Но, несмотря на то что в ее маленьком захолустном городке процветало пьянство, она надеялась, что на программе раскроют и нейтрализуют «истинную» причину ее несчастий.

Причину, конечно же, нашли. «Это родовое проклятье...», – шептала харизматичная девица, глядя на пострадавшую сквозь пламя свечи густо подведенными глазами. С ее слов

выходило, что все трагедии в жизни героини происходили именно из-за этого, и не было у нее никаких шансов на счастье, пока проклятье висит над ней как дамоклов меч. «Но я помогу вам», – сказала девица, и лицо просительницы просветлело. По-детски трогательно раскрылись затуманенные печалью и тревогой голубые глаза, выцветшие от слез. В этой мгновенной разительной перемене словно отразилась вся ее жизнь. Но отразилась не калейдоскопом картинок, на которых можно было разглядеть события и персонажей. То, что померещилось Успенскому в этот миг, походило на эфемерное панно, сотканное из эмоций, со сложным, но таким знакомым ему рисунком несбывшихся надежд, маленьких радостей и больших печалей, разочарований, отчаяния, превозмогания, но с потаенной мечтой о счастье и первобытным иррациональным стремлением жить.

Предательски дрогнуло внутри. Успенский посмотрел на свой неработающий чайник, все еще лежавший в его руках словно трупик некогда одушевленного обитателя этой квартиры, – и заплакал. Повод-то, казалось бы, пустячный. Подумаешь, чайник сломался. Грошовый электрический чайник. Но для Вадима Сигизмундовича это незначительное событие будто стало последней каплей. Усталость, жалость к себе, обида на строптивую судьбу, все те долго и тщательно скрываемые от самого себя чувства, вдруг взметнулись из потаенных недр к самому горлу, обожгли, предстали перед ним так явственно, что отмахнуться от них больше не было возможности. Словно внутри него резко разжалась не выдержавшая напряжения пружина и по инерции хлестнула неожиданно больно. Он отложил чайник в сторону, посидел недвижимо еще несколько секунд, а потом уронил в ладони худое, скуластое лицо и зарыдал уже не сдерживаясь.

Через несколько дней он оказался в темном захламленном коридоре квартиры, где его встретила немолодая, помятая и, кажется, сильно похмельная женщина. Она повела его в комнату. Там, в убогой обстановке, помнившей советские времена, между сервантом, шведской стенкой и массивной тумбой с пузатым телевизором, на продавленном диване и креслах теснились люди. Все они сохраняли почтенную тишину, присущую некому таинству. Успенский нерешительно мялся на пороге.

Встретившей его даме, по-видимому, было глубоко безразлично, найдет ли он здесь себе место. Дрожащей от тремора рукой она записала его фамилию в тетрадку и сообщила, что в очереди он тринадцатый, затем прошла в смежную комнату и недружелюбно закрыла за собой дверь. Успенский еще какое-то время постоял в дверном проеме, мучительно осознавая всю нелепость ситуации, а потом, заметив у стены свободный стул, неловко на него примостился. «Что я здесь делаю? – задавался Вадим Сигизмундович немимым вопросом. – Дикость, это же просто какая-то дикость. Наверное, я дошел до предела и лишился рассудка. Хотя... Какая в сущности разница?» Так он корил себя, дожидаясь все же своей очереди.

Наконец в коридоре мелькнула спина «двенадцатого», который вышел оттуда, куда Успенскому теперь предстояло войти. Спина имела такой же вопросительно-поникий контур, что и у Вадима Сигизмундовича. Безотчетная декадентская мысль обдала нутро отрезвляющим холодком: «А ведь спина эта не стала прямее» – подумалось ему. Он вдруг ощутил сильное волнение, такое, что даже вспотели и задрожали ладони. Но со стула поднялся и порог «приемной» переступил. Ведьма, которая уже не первый месяц являла с телевизионных экранов чудеса, принимала на кухне.

Вопреки его ожиданиям, обстановка в «приемной» была отнюдь не камерной. Сквозь грязное стекло в старой оконной раме разливался дневной свет, подчеркивая убогость обстановки. Кухня была типичной «хрущевской», не знавшей ни ремонта, ни простеньких хозяйских ухищрений по созданию уюта. В углу у окна стоял старый холодильник, заваленный мелким барахлом, вдоль противоположной стены разместились сборное подобие гарнитура, газовая плита и грязная тряпка на мойке. За хлипким столиком, примыкающим ребром к холодильнику, на такой же хлипкой табуретке восседала она, чудотворица. Не то чтобы воссе-

дала, но сидела ссутулившись, подперев ладонью голову с черной редкой шевелюрой. Была она совсем молоденькой, лет двадцати двух, и выглядела так же, как на экране, только при близком рассмотрении ее инфернальный макияж казался неаккуратным и несвежим. Рядом с ней на столе находились колода каких-то не игральных карт, пригоршня свечей да блюдо, которое, судя по оплавившемуся воску, служило подсвечником.

– Что у вас? – устало спросила она, глядя на Успенского без всякого интереса.

После некоторого замешательства он опустился на табуретку по перпендикулярному к ведьме краю стола.

– Все плохо, – признался Успенский ей и будто самому себе.

От волнения мысли его спутались, и он совершенно растерялся перед перспективой доходчиво и емко изложить суть своей проблемы. Да он и сам толком не знал, в чем именно заключается его беда, поскольку, сознательно избегая рефлексии, никогда не вдавался в анализ своих несчастий. Успенский знал, пожалуй, лишь то, что жизнь у него паршивая и, кажется, на днях он испытал пугающее чувство, охарактеризовать которое можно было лишь словом «невыносимо».

Еще одна причина его неготовности дать четкий ответ на поставленный вопрос заключалась в том, что он и не ждал никаких вопросов. Ведь на экране события разворачивались иначе. Экстрасенсы сами находили проблему и ее корень, им не требовалось ничего объяснять. А тут вдруг: «Что у вас?» За ответом на этот вопрос он сюда и пришел – совершил, по собственному разумению, шаг дикий и абсурдный. Решившись на него, Успенский желал, надеялся услышать о себе некое откровение, которое перевернет всю его жизнь, разом разрешит то недоразумение, которое с ней приключилось. Но с откровениями ведьма, чья такса за сеанс составляла пятнадцать тысяч рублей, пока не торопилась.

– Что плохо? – вздохнув, уточнила она и лениво взялась за колоду карт.

– Моя жизнь... Понимаете, она такая... В общем, такая, как будто... меня кто-то проклял, – вдруг выпалил он слово, о существовании которого в своем лексиконе даже не подозревал.

– Понимаю, – меланхолично отозвалась ведьма и стала выбрасывать на стол карты одну за одной.

Картам, казалось, не было конца, они все падали и падали на столешницу образуя некий узор. Ведьма молчала, то и дело поглядывая на Вадима Сигизмундовича. В ее взгляде Успенскому отчего-то мерещился укор, и, чтобы нарушить гнетущее молчание, он заговорил. Начал робко и будто оправдываясь, но по мере того, как слова слетали с языка, его понесло и он выложил ведьме все что мог о себе, про смерть матери, перестройку, Любаню, никчемность, неприкаянность и одиночество. «Что со мной не так? Что мне делать? Как жить?» – завершил он свой сбивчивый рассказ, когда все карты вплелись в узор.

Ведьма вздохнула, приосанилась и сосредоточенно уставилась на точку чуть выше макушки Вадима Сигизмундовича. «Сейчас, – подумал он, чувствуя, как заколотилось сердце. – Сейчас она все узрит и явит чудо». Он затих и замер.

– Всё! – наконец выдохнула она и приняла прежнее обмякшее положение у стола.

– Всё... – зачарованно повторил он и чуть сжал вспотевшие ладошки.

– Всё! Ничего не вижу. Не дают о тебе информацию. Слишком много черноты на тебе, грязи. Ничего сквозь нее не могу разглядеть.

Для убедительности она медленно поводила ладонью перед его носом, словно пытаясь нащупать что-то в густом тумане. И без того продолговатое лицо Вадима Сигизмундовича, казалось, вытянулось еще больше, и он почувствовал, как непроизвольно поползли вверх его брови, съезжаясь к переносице.

– Чистить тебя надо.

Она привсталала, взяла с холодильника тетрадь и шариковую ручку, выдрала лист и протянула его Успенскому.

– Записывай.

Ведьма принялась диктовать, а Успенский непослушной рукой криво выводить на листе совершенно дикие слова про бесов, врагов, покойников, которыми он в итоге исписал целую страницу.

– Значит, так! Пойдешь на кладбище и возьмешь с могильной ограды или креста гвоздь, уйдешь не оглядываясь. Дома положишь гвоздь в чашку с водой, этой водой будешь умываться утром и вечером, читая при этом заговор...

Успенский ошарашенно слушал этот бред, чувствуя как сквозь карман брюк жгут ляжку заранее приготовленные пятнадцать тысяч.

– ... делать это надо десять дней. Потом придешь ко мне, я скажу, в чем твоя проблема.

И он пошел как во сне. Сначала к выходу, потом на кладбище, потом домой. Он не любил вспоминать, как, озираясь, обхаживал могилы и отковыривал винтик с металлической ограды, как отирал себя настоянной на нем водой, повторяя заговор, а потом поднимал к зеркалу лицо и видел гримасу отвращения. Отвращения не только к воде с болтиком, но и к самому себе. В эти ритуальные дни в сознании Вадима Сигизмундовича остервенело боролись здравый смысл и надежда на чудо. Борьба была настолько изнуряющей, что непьющий Успенский даже купил себе однажды чекушку водки и выпил одним махом после очередной процедуры, почти сразу впад в блаженное забытие. Здравый смысл имел все шансы победить в этой схватке, если бы не одно веское обстоятельство – Успенскому ужасно жаль было отданных ведьме денег. Пятнадцать тысяч рублей – половина его скудных накоплений. Думать о том, что он отдал их так просто, ни за что, Вадиму Сигизмундовичу было больно, и он решил пройти этот путь до конца, надеясь все же, что жертвы оправдают себя.

Через две недели после первого визита ему снова довелось вдохнуть спертый воздух ведьмачьей прихожей, отметиться в очереди на прием, а потом шагнуть навстречу «чуду». За время его отсутствия на этой кухне ничего не изменилось, а ведьма будто и не вставала со своей табуретки.

– Что у вас? – спросила она с той же в точности безразличной интонацией, что и первый раз.

– Вот, – Вадим Сигизмундович протянул ей листочек с заговором. – Я все сделал...

Около минуты она всматривалась в его каракули, потом сказала: «Ну, садись». Перетасовала карты, раскидала на столе, посмотрела вверх макушки.

– Нет, ничего не вижу, – сказала она, перестав изображать натугу. – Не прояснилась твоя аура. Ты точно все правильно сделал?

– Точно. Всё как написано.

– Пил?

– Кто?

– Ну, не я же.

– Я непьющий.

Ведьма молчала и смотрела на Успенского с недоверием, видимо, силясь представить, что в России есть непьющие люди. За время этой недолгой паузы на Вадима Сигизмундовича снизошло озарение.

– Пил, – вдруг потупившись признался он, вспомнив про чекушку.

– Ну, вот видишь. Я же говорю! Меня не обманешь, у меня этот, как его, третий глаз. А во время ритуала пить нельзя, все десять дней и еще потом месяц. Только хуже может стать.

– Так вы ведь не сказали ничего про это! Вот, и на листочке ничего такого не записано.

Успенский готов был разрыдаться, вяло помахивая перед ней своими письменами. Он заглянул в лист, но буквы поплыли перед глазами, проступившая влага застила взгляд.

– Быть не может. Всем говорю, а тебе не сказала? Сам прослушал. Надо повторить ритуал заново, потом приходи.

Так Успенский обнаружил себя без скудных своих сбережений, а до зарплаты оставалось еще десять дней. К ведьме, как и к мерзкому ритуалу, он, понятное дело, возвращаться больше не собирался. После последнего визита к ней он почувствовал себя жертвой не просто обмана, но, больше того, – надругательства, что и переживал как мог дорогой домой.

По иронии судьбы первой же программой, на которую он наткнулся, усевшись в кресло с миской лапши быстрого приготовления в руках и включив телевизор, оказалась та самая передача про экстрасенсов, которая и подвигла его на недавние подвиги. Ведущий сообщал, что редакция объявляет очередной кастинг провидцев. Бегущая строка внизу экрана мельтешила контактами для записи желающих. «Суки...», – шипел сквозь «Доширак» прежде тихий Вадим Сигизмундович. От того, что рот его был полон ненавистной лапши, «суки» звучало как «шуки». «Шуки вы. Шуки! Ну, я вам покажу!»

Так закрутилась череда событий, приведших его к католическому собору на Малой Грузинской, а затем в КПЗ. И вот теперь он принимал «передачку» из рук собственного PR-менеджера и по совместительству любовницы.

– Вадик, ну чего ты так убиваешься? Подумаешь, какие-то пятнадцать суток! Зато теперь ты предстанешь в глазах общественности как мученик веры!

– Ага. Знать бы еще какой... – вздохнул Успенский и почесал свою незадачливую голову.

– У меня для тебя сюрприз, – вкрадчиво произнесла Светлана и выжидательно, с хитринкой, уставилась исподлобья на своего подопечного, прикусив пухлую губу. – Вуаля!

Быстрым движением она выудила из сумки и положила на стол свеженапечатанную газету. Заголовок первой полосы таблоида как всегда был шокирующе многообещающим и гласил: «Новый пророк явился!»; ниже следовал подзаголовок: «Спасайся, кто может...», еще ниже – фотография «пророка». На ней Вадим Сигизмундович был запечатлен в полете – балахон развивается, руки, будто сломаны, согнуты в локтях, пальцы растопырены, на лице гримаса неподдельного ужаса, «фирменный» мученический взгляд играл всеми красками отчаяния.

– Здорово получилось, правда?! Ну!.. Ты рад?

– Безмерно...

Глава 3

– Ладно у Володьки совсем крыша съехала, в его случае это закономерный финал личностного развития, но ты-то куда собрался?

Дмитрий Николаевич был уже не рад, что затащил сына к Стрельникову. На следующее утро после визита к соседу отец и сын сидели в гостиной, пили кофе, покончив с завтраком, и беседовали. Мирослав был невозмутим и еле заметно улыбался, глядя на отца с нежностью и, как тому казалось, со снисхождением. Дмитрий Николаевич же находился в несколько раздраженном состоянии, ощущая под ложечкой ноющее отцовское беспокойство, которое сложно было объяснить логически даже самому себе. Раздражение его усиливалось от того, что эту блуждающую полуулыбку сына он давно и хорошо знал, она была явным признаком – Мирослав для себя все решил и, как перед ним ни распинайся, он сделает по-своему. Предпринимая заведомо обреченные попытки отговорить сына от поездки со Стрельниковым, Дмитрий Николаевич чувствовал себя, как пациент на приеме у психиатра, который слушает его с безмятежным спокойствием, мягко кивает головой, давая выговориться, но не воспринимает всерьез ни одного его слова.

– Не вижу причин для волнения. Гималаи давным-давно не дикий край. Тибет исхожен туристами вдоль и поперек. Любой желающий сейчас может примкнуть к туристической группе и отправится туда.

– Мирослав, не путай экспедицию в составе туристической группы и экспедицию в компании Стрельникова. В какую пещеру или на какую отвесную скалу ему втемяшится в голову потащиться – одному Богу известно... Хотя, учитывая то, что Стрельников вообще непонятно кому молится, боюсь, и Богу неизвестно, что у него в мозгу переключится в следующую секунду. Тем более, Тибет сейчас на военном положении.

– Пап... – Мягко сказал Мирослав, продолжая улыбаться и смотреть на отца все тем же взглядом заботливого психиатра. – Я уже всё решил.

«Всё! – С досадой констатировал про себя Дмитрий Николаевич. – Бой окончательно проигран...» Чтобы скрыть раздражающее его недовольство и не портить день себе и сыну, он потянулся к кипе свежих газет, каждое утро вкладываемых домработницей на журнальный столик.

– Ну и что это за Шамбала такая, которую вам так срочно приспичило найти? – плохо скрывая раздражение, спросил он.

Дмитрий Николаевич шуршал страницами, не поднимая на сына глаз, но по тому, как скоро он перелистывает газетные листы и подергивает ступней в мягкой домашней туфле, было понятно, что сегодняшние новости его ничуть не интересуют.

– Шамбала – это всего лишь Центр мира, своего рода пуп земли, где, предположительно, хранятся ключи от мирового господства. В общем, так, ничего интересного...

На несколько секунд в гостиной стало так тихо, что Мирославу казалось, будто он слышит, как крутятся шестеренки его наручных часов. Поперечные морщины на переносице Дмитрия Николаевича обозначились двумя тревожными восклицательными знаками. Он медленно поднял на сына глаза, словно веки его настолько отяжелели, что ему приходится прилагать для этого невероятные усилия, да так и замер.

– Извини, пап, не сдержался, – рассмеялся Мирослав. – Дело в том, что ответить на вопрос: «Что это за Шамбала такая?» – не так-то просто. Предположительно это скрытая от обычных смертных страна, в которой живут истинные повелители мира, просветленные и всемогущие. Тот, кто попадет туда, тоже станет просветленным, всемогущим и абсолютно счастливым. Легенды о Шамбале присутствуют в разных учениях, как религиозных,

так и оккультных, эзотерических, шаманистских. И, несмотря на то что легенды эти будоражат умы человечества уже не первое тысячелетие, нет ни одного подтвержденного свидетельства, что хоть кому-то довелось-таки отыскать эту страну. Тем не менее поисковые экспедиции велись раньше и, как видишь, продолжают поныне. Большинство версий нахождения Шамбалы отсылают к горам Тибета, по другим – не исключается, что она может быть в горах Алтая и Кавказа. Точней, не в горах, а под ними. Но могу тебя успокоить: вероятней всего, Шамбала всего лишь миф или некая аллегория рая. Кстати, есть версия, что Шамбала и Беловодье из русских старообрядческих преданий – то, что с молочными реками и кисельными берегами – одна и та же мифическая страна. Отсюда версия, что Шамбала может быть на Алтае. Вот как-то так...

– То есть ты, сынок, сейчас попытался меня успокоить тем, что в ближайшее время намерился заявиться в рай? Я правильно тебя понял? – Дмитрий Николаевич зашуршал страницами яростней. Посмотреть собеседнику в лицо на этот раз даже не попытался.

Хрипловатый смех Мирослава снова рассыпался по просторной гостиной, отражаясь от потолка и стен легкой акустикой. На первом этаже дома Погодиных преобладали большие открытые пространства в светлых тонах. От высоких потолков к самому полу тянулись бликующие стекла панорамных окон, впускающие в дом много света, открывающие вид на веранду и сад. Этим летним утром в гостиной было особенно хорошо. Жизнеутверждающий солнечный свет, пробиваясь сквозь листву сада, ложился на убранство комнаты разномасными пятнами, напоминающими игривых солнечных зайцев. От трепета листьев на ветру и покачивания веток пятна то и дело перемещались, словно дразнили обитателей комнаты. Это мельтешение сейчас было Погодину-старшему совсем не по нутру, будто веселые солнечные зайчики полностью разделяли несерьезную позицию его давно уже взрослого сына. А он, Дмитрий Николаевич, в этой компании вроде как в меньшинстве со своим отцовским волнением и конструктивным подходом к вопросу.

– Когда ты выдаешь такие перлы, я начинаю сомневаться в каком ты настроении, хорошем или плохом, – отсмеявшись, сказал Мирослав. – Пойми, дело не в том, что я всерьез задался целью искать Шамбалу. Просто мне давно пора уже побывать в Тибете, я так или иначе собирался туда прокатиться. Меня, можно сказать, положение обязывает, я все-таки кандидат философских наук, лекции читаю по религиоведению, а в Гималаях – колыбели буддизма, месте, с которым связывают великое множество легенд, – так ни разу и не был. Самому неловко. Тем более, в ближайшие пару месяцев в университете каникулы, я буду не занят, отличный момент. Да и со Стрельниковым мне будет куда веселей, чем с обычными туристами.

– Да уж, с ним точно не соскучишься. Это меня и волнует, – пробурчал Дмитрий Николаевич себе под нос.

Потом вздохнул и все-таки одарил сына взглядом голубых с синими крапинками глаз, слегка коснувшись тонкой дужки читальных очков. Мирослав сидел напротив в миниатюрном кожаном кресле, отделанном стежкой капитоне, по форме больше напоминающем круглый приземистый стул. Поза: нога на ногу, корпус расслаблен, руки свободно лежат на подлокотниках. Сам улыбается, смотрит на отца веселыми синими глазами, на каштановых локонах дрожит пятнышко света. «До чего же похож на мать», – уже в который раз мысленно констатировал Погодин-старший. И повадкой тоже в нее. Ох уж эта графская порода, вроде бы мягко гнут свою линию, деликатно, а все равно не переупрямишь. И даже прикрикнуть на них нельзя да по столу кулаком шмякнуть: во-первых не поднимаются ни голос, ни рука, во-вторых, все равно бесполезно.

Взгляд Дмитрия Николаевича скользнул с лица Мирослава ниже, на шею, где за воротом бледно-сиреневой рубашки виднелся тонкий шрам – напоминание о событиях годичной давности. Счастье, что Погодин-старший узнал о появлении этого шрама и причинах этого время спустя, когда рана от разреза затянулась и стала похожа на безобидную бурую ниточку. Если бы

ему довелось увидеть сына с окровавленной шеей, по которой только что прошло лезвие серийного убийцы, едва не задев сонную артерию, кто знает, сидел бы он сейчас в полном здравии или восстанавливался после инсульта. Теперь шрам и вовсе побелел, почти не привлекая к себе особого внимания. Но для отца он по-прежнему оставался четко различимым, броским, словно знак опасности, предупреждающий, что за сыном нужен глаз да глаз.

Разве мог Дмитрий Николаевич раньше вообразить, что профессиональная стезя сына может быть хоть как-то сопряжена с опасностями? Такое предположение казалось невероятным, ведь Мирослав решил податься в науку. «Ну и слава Богу, – в тайне от семьи выдохнул тогда Погодин-старший. – Целее будет». Из-за сильного сходства с матерью ему постоянно мерещилась в сыне фарфоровая аристократическая хрупкость. И даже когда Мирослав лихо завоевывал призовые места на соревнованиях по дзюдо, отец все равно не мог отделаться от своего наваждения. Он думал, что философия, в изучение которой погрузился сын, будет мягко качать его на своих убаюкивающих волнах, навевая состояние дремоты и неги, в котором дров не нарубишь. Но расчет его оказался неверен. Пытливый ум и молодая кровь делали свое дело, и Мирослав увлекся изучением различных оккультных теорий, организаций, сектантства, затем вошел в состав Комитета по спасению молодежи от псевдорелигий и тоталитарных сект, позже стал выступать приглашенным лектором в МВД. Как апогей – был привлечен к операции по поимке одержимого убийцы, в которой едва не погиб. Вот тебе и философия – любовь к мудрости.

Дмитрий Погодин только начал успокаиваться после прошлогодней истории. Жизнь, казалось, вошла в прежнее размеренное русло, Мирослав продолжал работать в университете, потихоньку дописывал докторскую, время от времени наведывался в родительский дом, выглядел расслабленным и умиротворенным. Дмитрий Николаевич как мог аккуратно зондировал почву на предмет возможного попадания сына в новые подобные ситуации. «Как там у Замятина дела? Давно виделись?» – как бы невзначай интересовался он во время семейных посиделок. И удовлетворившись ответом о том, что Замятин преспокойно живет своей жизнью и звонит только по поводам, не имеющим касательства к работе, успокаивался. Именно в майоре Замятине, который в прошлом году привлек его сына к своему расследованию, Погодину-старшему виделась главная угроза их семейной идиллии. Но тут нарисовался Стрельников, будь он неладен, со своей, прости Господи, Шамбалой. Ох, не нравилась Дмитрию Николаевичу эта, казалось бы, дурашливая затея. Ох не нравилась.

– Утопия и бред эта ваша Шамбала, – сухо констатировал он и хрустнул газетным листом. А через несколько секунд вдруг оживился и повеселел.

– О! Кажется, в вашем полку ненормальных прибыло! – саркастически выдал он, передавая сыну газету «Супер стар», раскрытую на статье о «пророке». – Я смотрю, вокруг спасения мира нынче нездоровая ажитация, куда ни плюнь – везде мессия. Посмотри-посмотри на кого ты в итоге станешь похожим, если не перестанешь маяться дурью, Мирослав.

Он подался корпусом вперед, развернул к сыну газету и потыкал указательным пальцем в искаженную физиономию Успенского.

– Вот, значит, кто твой положительный пример?

– Ты уморить меня сегодня решил?

Настроение Мирослава от всего происходящего делалось только лучше. А статья про «мессию» и его выразительное фото вообще относились в категории «made my day» – Успенский в полете был чудо как хорош. Мирослав пробежал глазами заметку и хмыкнул.

– Бред, конечно, но совпадение любопытное, – сказал он вполголоса. – По убеждению некоторых эзотериков, таких как Блаватская, Рерих, Алиса Бейли, Белое братство – это и есть обитатели Шамбалы, тайные правители Земли.

Погодин-старший от этой ценной информации только глаза подкатил. Неизвестно в какое еще русло повернулось бы обсуждение раздражающей Дмитрия Николаевича темы, но, к счастью, дверь на веранду скрипнула и в гостиной послышалось частое тяжелое дыхание.

Милейший щенок, спасенный Мирославом год назад из-под колес автомобиля, вырос в превредную суку. Суку Погодин назвал Алисой, как бы намекая, что подарит ей целый «ван-дерлэнд» лишь бы она жила и горя не знала. Алиса не знала горя – хозяин ее холил, лелеял и все ей прощал. А прощать было что – Алиса оказалась собакой своенравной, и лишь Мирослав умел с ней сладить.

Погодинских женщин Алиса привечала не слишком – безжалостно сгрызала за ночь их дорожные туфли, беспечно брошенные в коридоре, или вообще укладывала свою огромную мохнатую тушу в кровать между спящими любовниками. Дамы от ее проделок неизменно расстраивались, а Алиса хитро косила на них черным, как спелая черная маслина, глазом, звучно лупила по полу мощным хвостом и словно смеялась, ширя клыкастую пасть. Погодин от ее проделок только посмеивался и трепал Алису по загривку. Собаку свою он любил и умилялся ею во всех проявлениях. Но вот его романы с появлением домашнего питомца, кажется, стали короче.

Что это была за порода, никто в точности определить не мог. Алиса выросла большущей, длинношерстной псиной и доходила в холке хозяину до бедра.

– Батюшки святы, да это волкодав, – всплеснула руками тетя Глаша, когда Мирослав однажды заявился с подросткой собакой на родительский сандей-бранч.

– Ньюфаундленд, – деловито предположила Аглая, оглядывая гигантское животное.

– Алабай, – выдал свою версию Дмитрий Николаевич, запуская руку в густую собачью шерсть.

Погодин-старший так же, как сын, проникся к собаке большой и, похоже, взаимной любовью. Он даже предпринял несколько попыток приобщить животное к своему досугу. Однажды он взял Алису на охоту, рассчитывая, что сильная, энергичная собака окажется ему подспорьем. Но расчет оказался неверным. В самый неудачный момент у Алисы случился приступ безудержного веселья, она сорвалась с поводка и принялась с диким лаем носится по лесу, распугивая все живое на километры вокруг. Сколько усилий потребовалось Дмитрию Николаевичу, чтобы изловить зловредную «помощницу», он предпочитал не вспоминать. Охотник вернулся домой без добычи, зато хорошо пропотевшим. Впрочем, за эту ситуацию Погодин-старший на Алису не сильно злился – купил себе в утешение на охотничьей базе три утиные тушки, а вот хороший анекдот, над которым целый вечер потешалось все семейство, стоил куда дороже.

Появившись в гостиной, Алиса подошла к Мирославу, положила свою большую мохнатую голову ему на колени, ожидая хозяйской ласки.

– Предательница, – обиженно буркнул Дмитрий Николаевич, только вчера вечером втихую скормивший неблагодарной псине упаковку сметаны.

– Ладно, – погладив собаку, Мирослав поднялся. – Поеду я в университет экзамен принимать, время уже. Алису оставляю на твое попечение, заеду за ней вечером.

Он вышел на крыльцо родительского дома, вдохнул полной грудью свежий после ночной грозы воздух летнего утра. «Искать Шамбалу... – хмыкнул, обращаясь к самому себе. – Да, пожалуй, это неплохой план на лето». Щелкнув брелоком сигнализации, Мирослав сбежал по ступенькам, сел в машину и покатиł навстречу неиссякаемым московским пробкам. Двигаться до пункта назначения по городу предстояло медленно и долго. В силу неистребимой привычки постоянно о чем-нибудь думать, он думал в этот день о том, что жизнь для него, пожалуй, только сейчас обретает реальные краски, вкус, запах и цвет. До прошлогодней истории на всем, что окружало его, Погодину мерещилась пусть тончайшая, но черная вуаль.

Волею судьбы он оказался в числе тех редких счастливичков, которым жизнь дала все, что можно вообразить и пожелать. Он был тем, о ком писали глянцевые журналы, просто по факту принадлежности к самым сливкам «золотой молодежи». Вдобавок – хорош собой, вполне здоров. Все двери перед ним открыты, любой каприз выполним. Но, сделав его своего рода «избранным», судьба все же и его не уберегла от участи человека абсолютно любого – необходимости сохранять внутри нечто хрупкое, ломкое, что не могла защитить даже самая дорогостоящая, суперсовременная охранная система. В этом отношении жизнь уравнивала всех без исключений.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.